



# ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

Анатолий Демин

## ИЗОБРАЖЕНИЕ «ЗВЕРСКОСТИ» ЗЛОДЕЕВ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Аннотация.* Рассматриваются памятники древнерусской литературы через призму мотива «зверскости злодеев». Показано, что мотив «зверскости» злодеев явился одним из стержней, который скрепил в единое целое древнерусскую литературу и одновременно стал индикатором её художественности.

*Ключевые слова:* зверскость злодеев; звериная дикость древлян; вариации зверскости злодеев; образы злодеев; ярость и страх врагов; метаморфозы традиций изображения злодеев.

*Abstract.* On the example of the motive of "cruelty" of villains the monuments of Old Russian literature are examined. It is shown that the motive of "cruelty" of villains was one of the rods, that bonded the whole ancient Russian literature, as well as its artistry.

*Keywords:* cruelty of villains; bestial savagery of ancient people; kinds of cruelty of villains, images of villains, rage and fear of enemies; metamorphosis of traditions of depicting the villains.

«И се нападоша, акы зверье дивин...»

Об убиении Борисова  
(под 1015 год)

Изображение злодеев и убийц в древнерусских памятниках

Количество «сквозных» мотивов в древнерусской литературе необъятно. Но на примере одного литературного мотива, пожалуй, можно обозреть его историю, типичную и для других мотивов как части истории древнерусской литературы.

Достаточно объемный материал для такого анализа дают *изображения «зверскости» злодеев* (убийц, мучителей, захватчиков, изменников, гонителей и т.п.). История изображения злодеев на страницах древнерусских литературных памятников не изучена вовсе – пока возможен лишь ее предварительный набросок.

Мы сосредоточимся на истории «зверскости» злодеев, которую возможно найти в наиболее известных оригинальных (непереводных) памятниках древнерусской литературы.

### 1 – «Повесть временных лет»

Зверская хищность язычников-древлян

Самые ранние «зверские» злодеи в древнерусской непереводной литературе – это язычники. Хлесткая характеристика образа жизни язычников содержится, как известно, в начале *«Повести временных лет»* [1], где летописец изобразил звериную хищность древлян: «древляне живяху звериньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху уводы девиця» [1, столбец 13].

Представление о зверской хищности древлян, по-видимому, было у самого летописца (а не заимствовано им откуда-то). Хотя сходный фразеологический элемент присутствовал в характеристике язычников в *«Слове о Законе и Благодати»* митрополита Илариона [2], но Иларион, в отличие от летописца, имел в виду идейное невежество язычников: «прежде бывшемъ намъ, яко зверемъ и скотомъ, не разумеющемъ деснице и шюице, и земельных прилежащем, и нимала о небесных попекущемся» [2, с. 24].

Летописец писал о зверской хищности и других язычников

Осудив древлян, летописец далее дал характеристику и иных язычников из *«Хроники»* Георгия Амартола. В *«Хронике»* говорилось не о зверской хищности язычников, а об их «скотскости» и дикости: индийцы «убистводеици... человекъ ядуще и страньствующихъ убиваху; паче же ядять, яко пси. Етеръ же законъ халдеемъ и вавилонямъ: матери поимати, съ братними чады блудъ деяти, и убивати... Амазоне же мужа не имуть, но и, акы

*скотъ* бесловесныи, но единою летомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будутъ и сочтаются съ окрестныхъ имъ мужи» [3, с. 15–16], «скотскость» и дикость язычников отмечалась и в «Речи философа», включенной в «Повесть временных лет»: «не познаша створьшаго, исполнишася блуда, и всякая нечистоты, и убиства, и зависти, живяху скотьски человеци» [3, с.90 (под 986 г.)]. Летописец, указав на зверскую хищность древлян, добавил «зверскость» к скотскости.

Летописец  
заимствовал  
информацию о  
нечистоте  
язычников

Знал летописец и «Откровение» Мефодия Патарского, из которого пересказал сообщение об язычниках, которое подчеркивало их «нечистоту», но отнюдь не их хищность: «человеки нечистыя от племене Нелфетова ... ядыху скверну всяку: комары, и мухы, коткы, змие, и мертвецъ ... ядыху, и женьскыя изворогы, и скоты вся нечистыя» [4, с. 235–236 (под 1096 г.)].

Мы полагаем, что раздраженное повествование о зверской хищности древлян, действительно, принадлежало самому летописцу, который использовал традиционную возможность начинать схему обличения язычников субъективными сведениями.

Звериная дикость  
древлян

Далее в «Повести временных лет» летописец подобным образом охарактеризовал помимо древлян и другие языческие племена. Однако на этот раз он подчеркнул не хищность, а их «зверскую» дикость: «и радимичи, и вятичи, и северъ одинъ обычаи имяху: живяху в лесе, яко же и всякии зверь, ядуще все нечисто ... и браци не бываху въ них, но игрища межю селы» и пр. [4, с. 13–14]. В этом сообщении летописец по сути повторил схему характеристики древлян, однако добавил указание на как бы бездомный, звериный образ жизни племен в лесу. Ведь языческие народы, по представлению летописца, обитали в диких местах (в том числе «древляне ... седоша в лесех».) [4, с.6].

Мотив «зверскости»  
затронул и половцев

О некой гибкости схемы обличения язычников свидетельствует и то, что по отношению к «поганым» половцам летописец избегал прямых обвинений в их «зверскости». Так, в начале «Повести временных лет», давая общую характеристику половцев, летописец тоже следовал «Хронике» Георгия Амартола и традиционной схеме признаков дикости язычников, однако о «зверскости» половцев не упомянул: «Половци законъ держать отецъ своих: кровь проливати, а хваляще о сихъ; и ядуще мерьтвечину и всю нечистоту – хомеки и сусолы; и поймають мачехи своя и ятрови» [4, с.16].

Однако в расплывчатой форме мотив «зверскости» все же затрагивал половцев. Примечательно отношение

летописца к половецкому хану Боняку, представленное в конце летописи. Летописец говорил о Боняке как о хищнике, но не как о звере: «Приде второе Бонякъ безбожныи, шелудивыи, отаи, *хыщникъ*, г. Киеву внезапу» [4, с. 232 (под 1096 г.)].

«Вълче и хыщъниче, пажиро душамъ»

Сопоставление агрессивного персонажа с хищником тоже было традиционным (ср. в переводном «*Мучениии Еразма*» [5]: «вълче и хыщъниче, пажиро душамъ»; «вълче и хыщъниче... чьсо ради гониши раба Божия») [5, с. 214, 217]. Но о половце как волке летописец не обмолвился.

Правда, слово «волк» по поводу половца упомянуто в другом месте летописи, но и там летописец лишь косвенно указал на некую родственность Боняка волкам (опять-таки без мотива «зверскости»). Он писал, что Боняк в полночь «поча выти волчьскы, и волкъ отвыся ему, и начаша волци выти мнози», и Боняк понял смысл этого вытья [5, с. 271 (под 1097 г.)]. Понятна подобная осторожность летописца в обрисовке половцев, с которыми русские то воевали, то мирились и заключали военные и брачные союзы. Вероятно, традиционный мотив «зверскости» язычников столь лабильно отразился в летописи именно потому, что сама эта традиция отличалась лабильностью.

Мотив унижения побежденных народов

Изображение язычников как злодеев содержало также другие мотивы, близкие к мотиву «зверскости». Так, к изображению язычников летописец привлек еще один мотив, – их гордую езду на покоренных людях, которые низведены до уровня животных. Например, обры «примучиша дулебы... и насилье творяху женамъ дулепскимъ. Аще поехати будяше обьрину, не дадыше въпрячи коня, ни вола, но веляше въпрячи 3 ли, 4 ли, 5 ли женъ въ телегу и повести обьрена, и тако мучаху дулебы» [5, с. 12]. Сходный мотив мы находим в рассказе о древлянах, которые убили Игоря и потребовали у Ольги, чтобы киевляне несли древлян в ладье, и «понесоша я в лодьи; они же седяху в перегъбех, въ великихъ сустугахъ, гордяшеса» [5, с. 56 (под 945 г.)]. Этот мотив, возможно, восходил к древнему представлению о «транспортном» унижении побежденных народов чванливыми победителями (ведь и легенда об обрах и дулебах явно не русская).

Волхвы как виновники в кровожадности

В «Повести временных лет» отразились и настолько свежие литературные мотивы рассказа о язычниках-злодеях, что их история еще не успела сформироваться. К ним относится, например, изображение деятельности русских волхвов после принятия христианства на Руси. В тексте летописец представил их деятельность оголте-

ло убийственной («убивашета многы жены... избила уже многы жены ... погубиста толико человекъ... истребиве сихъ» [5, с.175–176 (под 1071 г.)]. Волхвы выступали виновниками кровожадности персонажа («его же роди мати от вълхвованья... Сего ради немилостивъ есть на кровьпролитъе» [5, с. 155 (под 1044 г.)]. Эти злодейские новопоявившиеся волхвы, в представлении летописца, не имели отношения ни к жертвоприношениям у язычников, ни тем более к мудрым волхвам прошлого, а примыкали к половцам, которые «кровь христьянску проливають беспрестани» [5, с. 227 (под 1035 г.)].

Вариации  
«зверскости»  
злодеев,  
относящихся  
к христианам

Прочие летописные вариации изображения «зверскости» злодеев относятся уже к злодеям из христиан. Первым таким злодеем-христианином был изображен под 980 г. воевода Блуд (Будый), предавший своего князя на смерть. Летописец представил Блуда как неистового человека в своей злодейской энергии («то суть неистовии...»), непрерывно занятого мыслью об убийстве князя («се есть советъ золь ... иже мыслять о главе князя своего на пагубленье... мысля убити... погубити и» [5, с. 77]), все время лгущего своей жертве («О, злая летья человеческа... Се бо лукавствоваше на князя своего летью... летья ему... замысли летью... летьяче... летья подь нимъ») [5, с.76–77] и стремящегося к кровопролитью («иже советевают на кровопролитъе... Се бо бысть повиненъ крови тои» [5, с. 77]). Летописец к таким злодеям применил соответствующие цитаты из Псалтыри с теми же мотивами (мысли злодеев об убийстве – «летья» – кровь). Однако он в своем повествовании темпераментно усилил эти традиционные мотивы ввиду тогдашней крайней злободневности сюжета. Литературная традиция, можно сказать, наливалась кровью.

Зверская хищность  
убийц Бориса

Богатейшим творческим использованием литературных традиций отличилась другая летописная статья – «О убиеньи Борисове» (под 1015 г. и под 1019 г.). Что касается убийц Бориса и Глеба, то летописец воспользовался почти всеми видами традиционных средств повествования о злодеях. Так, упоминание о зверской хищности летописных персонажей относилось к убийцам Бориса: «и се нападоша, акы зверье дивии, около шатра, и насунуша и копы, и прободоша Бориса и слугу его» [5, с.134 (под 1015 г.)]. Сравнение нападавших злодеев с дикими зверьями издавна было совершенно традиционным. Оно встречалось в ряде источников: в «Повести о святом Авраамии» Ефрема [7] («яко зверие дивии, устремиша ся на нь, и биюще» [7, с. 477]; в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («устрьмиши ся на ня, акы зверие дивии»

[8, с. 104]; в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора («рикающе, акы зверие дивии, поглотити хотяще праведнаго», «акы зверие дивии, нападоша на нь», «устремишася по немь, акы зверие дивии» [9, с. 10–12]).

«Каинов смысл  
приимъ»

Автор летописной статьи, кроме того, повторял и слегка варьировал выражения из «Хроники» Георгия Амартола [10]. Но самое главное – автор свободно, никому не подражая дословно, высказывался на традиционные темы о замысле злодея («Каиновъ смыслъ приимъ»; «помысли въ себе... како бы убити; «нача помышляти, яко избью» и т.д. [10, с. 132, 135, 139], о «лести» злодея («лстя ... како бы и погубити», «с лестью» и пр. [10, с. 132, 135], о кровопролитии («каплями кровными святыми очервивша багряницу» [9, с. 138]; «кровь брата моего вопъеть к тебе, Владыко; мьсти от крове праведнаго сего» [10, с. 144 (под 1019 г.)]).

Злодеи – убийцы  
Бориса «на зло  
слеми скори суть»

Наконец, в статье «О убиеньи Борисове» можно отметить и сравнительно индивидуальную склонность летописца в обрисовке злодеев, отсутствующую в других произведениях о Борисе и Глебе, – летописец многократно подчеркивал, что злодеи «скори» в своем злодействе: «вскоре обещахася» убить праведника; торопились «вборзе» сорвать гривну с шеи жертвы; «на зло слеми скори суть»; «внезапу придоша ... на погубленье ... и ту абье ... яша» другого праведника и велели «вборзе зарезати» его [9, с. 132, 134–136]. Автор выразил представление о злодейском напоре убийц (мотив, родственной зверской хищности язычников).

Об ослеплении  
теребовльского князя  
Василька  
Ростиславовича

Одним из последних летописных рассказов о злодеях была составленная неким Василием повесть под 1097 г. об ослеплении теребовльского князя Василька Ростиславовича. Своеобразие рассказа заключалось, между прочим, в описании состояния главного инициатора ослепления: владими́ро-волинский князь Давид Игоревич «сediaше, акы немъ... и не бе в Давиде ни гласа, ни послушанья, – бе бо ужаслься и леть имея въ сердци» [9, с. 259].

Злодеи обычно  
сообщали своим  
сторонникам о  
злодейской цели

По традиции, злодеи обычно сообщали своим сторонникам о своей злодейской цели или признавались о ней «въ себе». Но описание эмоционального состояния злодея перед преступлением (притом не ярости, а более человеческого чувства) – это, пожалуй, нечто новое для литературной традиции, да и для летописи тоже.

Автор повести вообще был отзывчив на чувства персонажей. У него то один персонаж «смятеся умом» и «сжалиси», то другой персонаж «възпи к Богу плачем великим и стенаньем», то третий персонаж «плакатися нача», то четвертый персонаж «ужасеся и всплакавъ»,

прочие персонажи «печална быста велми и плакастася», а кто-то «радъ бывъ» и т.д. [9, с. 257, 260–267]. Подобная явственная новация в традиции появилась, конечно, под впечатлением автора от реальных княжеских злодейств конца XI – начала XII в.

В результате этих новаций «Повесть временных лет» очень продвинулась в изображении злодеев. Можно сказать, что образы злодеев – ее литературное богатство.

## 2 – Произведения второй половины XII–XVI вв.

В произведениях, появившихся после «Повести временных лет», мало что прибавилось нового: авторы ограничивались мелкими единичными новациями.

Образ волчьей  
хищности половцев

Владимир Мономах в своем «Поучении» [11] использовал образ волчьей хищности половцев: «ехахом сквозе полкы половьчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и облизахуся на нас, акы волцы, стояще» [11, с. 249]. Сопоставление половцев именно с облизывающимися волками было очень живым, явно нетрадиционным и отражало охотничий опыт Мономаха, о котором он сам подробно повествовал в «Поучении». Вот так рано в изобразительность литературного произведения стихийно вмешалась индивидуальная жизнь автора.

Летописи XII–XIII вв. и совсем не внесли ничего нового в традицию изображения злодеев, постоянно сравнивая их со свирепыми зверьми, насыщающимися кровью и борзо передвигающимися. Встречается лишь одно исключение.

«От звероядивого  
Феодорца  
погыбающим от  
него»

Во «Владими́ро-Суздальской летописи» [12] под 1169 г. (а в Галицко-Волынской летописи» под 1172 г.) содержится ругательный рассказ о владимирском епископе Феодоре, подвергнутом казни за жестокие муки неудобных ему людей, «от звероядиваго Феодорца погыбающим от него» [12, с. 357]. Летописец постарался собрать всевозможные положенные проклятия злодею против «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца» [12, с. 255], «безъмилостивъ сый мучитель» [12, с. 356] и пр. Но необычно обвинение злодея в бешеной, нечеловеческой энергии, даже не зверской, а адской: «именя бо бе не сытъ, акы адъ ... яко и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, и устроивше в немъ 2-го Сотонаила, и сведоша ѝ въ адъ» [12, с. 356].

Ад как мера пороков. Откуда явилось это сравнение с адом, – не ясно. Может быть, из церковной устной речи? Хотя доказательств тому нет. Изобразительность литературного рассказа могла питаться филиппиками.

Прочие произведения разных жанров XII–XVI вв., говоря о злодеях, тоже повторяли в разных вариантах традиционные выражения о зверях и волках, об аспидах и ехиднах, ядовитых змеях и львах.

Попы «хотеша бес правды убити»

В «*Житии Авраамия Смоленского*» Ефрема встречаем новое сравнение: местные попы «хотеша бес правды убити» Авраамия, и на суде «бе-щину попомъ, яко воломъ, рыкающимъ» на блаженного [13, с. 82]. Рычащих зверей, в том числе львов, заменили волы. Причиной этого единичного отступления от традиции, скорее всего, было влияние бытовых представлений автора, эпизодически проявлявшееся в «*Житии*» (вот некоторые бытовые детали, использованные автором: Авраамий «черну браду таку имеа, плешиву разве имеа главу» [13, с. 78]; «яко птица, ять руками» [13, с. 80]; «языкъ, яко затыка, въ устехъ бяше» [13, с. 86]; «скупи ограды овощныя» [13, с. 90]; «онъ рогоже положи и постелю жестоку» [13, с. 98] и т.п. Живая обыденная жизнь иногда подталкивала авторов к «точечному» обновлению литературных традиций.

Сходное явление встречается и через 200 лет в «*Житии Евфросина Псковского*» Василия: на псковских монахов горожане «яко осы или яко пчелы сотъ, разсверепевше, наскакаху ... уязвляюще» [14, с. 92–93]. Пчелы из символа книжной премудрости оказались переосмыслены в то, чем они являются в реальной жизни. Связи между Василием и Ефремом в данном случае не было никакой. Исподволь влиял быт.

Таково было сравнительно созерцательное «семейство» древнейших памятников.

Ярость и страх врагов: Мамай възъярився зраком

Судя по повестям XV–XVI вв. о восточных нашествиях на Русь, что-то сдвинулось затем в изображении «зверскости» злодеев. Все враги пребывали в дикой ярости, а под конец – в страхе. В так называемой пространной летописной повести о *Куликовской битве* Мамай «сеченыа свои видевь, възъярився зраком, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще ... преступааше, аки змиа къ гнезду, ... на крестьяньство...» [15, с. 19]. Обратим внимание на зримое описание гнева Мамай: «възъярився зраком». В других повестях о Куликовской битве такой детали нет. Ее появление объясняется некоторой склонностью автора к изобразительному изложению событий, к упоминанию лиц персонажей («бился с тотары в лице», «лице свое почну крыти» [15, с. 22]; «отврати, Господи, лице свое от них» [15, с. 18]; «очи нашы не могут огненныхъ слез источати» [15, с. 21]. Кроме этого, автор указывал



внешнее состояние оружия и доспехов («беаше видети весь доспехъ его битъ и язвен» [15, с. 22]; «поострю, яко молнию, мечь мой» [15, с. 18]; «пошли ... на остраа копья» [15, с. 19]); как бы лицеизрел окружающую обстановку («бысть тма велика по всей земли: мъгляне бо было беаше того от утра ... бе бо поле чисто и велико зело ... и покрыша полки поле» [15, с. 20]; «проляша кровь, аки дождева туча, ... паде трупъ на трупе ... видеша полци – тресолнечный полкъ и пламенныа их стрелы» [15, с. 21]; «оступиша около, аки вода многа, обаполы» [15, с. 22]). По-видимому, пространная летописная повесть была составлена гораздо позже Куликовской битвы, – оттого автор для вящей драматичности украсил повествование небольшими картинками и изобразил злодея с яростным лицом.

Окаяный Батый  
и дохну огнем  
от мерскаго сердца  
своего

Традиция изобразительного украшения воинских повестей, написанных гораздо позже описываемых событий, распространилась в XVI в. Причем злодеи изображались в зависимости от сюжетных ситуаций. Так, в «*Повести о разорении Рязани Батыем*» среди частых упоминаний о ярости врага сказано, что «окаяный Батый и дохну огнем от мерскаго сердца своего» [16, с. 188]. Эта «огненная» деталь своеобразна и связана с тут же развертываемым рассказом о сожжении Рязани: «придоша погани ... с огни ... священнический чин огню предаша, во святыи церкви *пожегоша* ... и весь град *пожгоша*» [16, с. 190].

В другом произведении – «*Сказании о Мамаевом побоище*» – обуреваемый яростью Мамай, обещавший убить Дмитрия Донского, почему-то срывается на крик, – деталь тоже редкостная: «Онъ же нечестивый царь, разженъ диаволом на свою пагубу, *крикнувѣ* напрасно, *испусти гласъ*: “Тако силы моа, аще не одолею русских князей, ть како имамъ възвратитися въ своаси?...”» [17, с. 38]. Причина упоминания крика (восклицания) заключалась в том, что у автора повести Мамай, в отличие от русских персонажей, всегда во всеуслышание объявлял о своих грубых планах и опасениях.

Темир убоися, и  
устрашися, и  
ужасеся, и смятесея

Перемены начались, видимо, с риторики – напыщенной красоты. Так, в «*Повести о Темир Аксаке*» автор щедро описал страх свирепого Темира: «убоися, и устрашися, и ужасеся, и смятесея; и нападе на нь страхъ и трепеть, вниде страхъ въ сердце его и ужасъ в душу его, вниде трепеть в кости его» [18, с. 238] – это следы так называемого «второго южнославянского влияния», впрочем, редкие в повести.

Риторические  
компиляции в более  
поздних источниках

Бесконечные же украшения речи, риторические компиляции и распространения традиционных выражений,

принадлежавшие самому автору-комбинатору (или редактору), содержала так называемая московская «*Повесть о походе Ивана III на Новгород*»: «мужие новгородьстии лукавствомъ своя злыя мысли възгордевшеся»; «яко волкъ, чрезъ ограду хотяше влезти ко овцамъ...»; «яко же аспида глуха, затыкаючи уши свои»; «мечущеся ... на лесъ, яко скотъ, бредяху» и мн. др. [19, с. 3, 6, 8, 11].

Таким образом, традиция изображения злодеев древнерусскими писателями сочетала обязательное единообразие схем и символов с разнообразием индивидуальных мелких новаций, появлявшихся по самым разнообразным причинам.

Значительные отступления от традиций

Более значительное отступление от традиции произошло в «*Повести о Тимофее Владимирском*», сюжет которой был совершенно уникален: молодой православный священник бежал в Казань, стал воеводой у казанского царя и, «бусарманскую срацынскую злую веру приять ... золь гонитель бысть и лють кровопийца христианескъ пролияти кровь неповинных русских людей» [20, с. 48, 60]; но через 30 лет злодей раскаялся, и автор повести вдруг увидел, как выглядел раскаявшийся злодей: «верстою бы онъ в пятьдесят летъ бывъ» [20, с. 64]; если перед раскаянием он еще взирал «ярыма своима очима зверинымъ» (дань «зверскости» злодея), то после раскаяния так «плакася от полудне того до вечера, донеле гортань его премолча и слезы исчезосте от очию его» [20, с. 60]. Автор очертил позы раскаявшегося предателя: «сшед с коня, о землю убивашеся» [20, с. 60]; «свержеся с конех своихъ долу на землю» [20, с. 64]; «спа до утра на траве» [20, с. 62]; и умирая, «нози свои, яко живъ, простре» [20, с. 64]. Одежды персонажа также обозначил автор: мятущийся Тимофей то «пременив образ свой поповский и облечеся в воинскую одежду» [20, с. 58], то стал носить «драгия ризы», но в конце концов «облече на него смиренныя ... одежды» [20, с. 64]. Кони, на коотрых ездил Тимофей, также не были обойдены вниманием автора повести: «гнаше ... на дву скорых драгих конехъ», а «на них басманы великие полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ камней» [20, с. 64, 66]. Все эти детали автор не помышлял объединить в портрет человека, а в рассыпанном виде упоминал в тексте повести. Но примечательно само сочувственное «оживление» главного персонажа, необычное для литературной традиции изображения злодеев.

«Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы ради»

Объяснить данную особенность можно устным источником автора. Ведь автор в конце повести как бы в виде извинения приписал: «Сия ж повесть многа летъ

не написана бысть, но тако в людехъ в повестех ноша-  
шеся. Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы  
ради...» [20, с. 66]. Но независимо от того, какова была  
легенда и как ее переложил автор письменной повести,  
мы обнаруживаем любопытный факт: житейная тради-  
ция изображения праведников (их лиц, поз, одежд и  
пр.) была перенесена, как нетрудно убедиться, на изо-  
бражение великого грешника. Чувствительный автор  
жанрово расширил традицию изображения злодеев.

Компиляция и  
нагнетание  
признаков особо  
лютых злодеев

Перейдем к более позднему времени. Во второй  
половине XVI в. литература пошла по пути обильного  
компилирования и нагнетания признаков, традицион-  
но приписываемых особо лютым злодеям. Например, в  
«Казанской истории» автор создал условный образ:  
казанский царь Улу-Ахмет «возведе очи своя звериныя  
на небо», «поскрежета зубы своими, яко дикий вепрь, и  
грозно возсвиста, яко страшный змий великий ... яко  
левъ, рыкая и, яко змий, страшно огнемъ дыша» [21, с.  
322, 324]. Иногда образ злодея у автора повести стано-  
вился более реальным, хотя и оставался гиперболиче-  
ским вроде татарского богатыря Аталыка: «Величина  
же его и ширина, аки исполина; очи же его бяху крова-  
вы, аки у зверя или человекаядца, велики, аки буяво-  
ла» [21, с. 352]. Автор был в своем роде романтиком и  
романтически относился как к русским, так и к казан-  
ским персонажам, потому что писал, по его определе-  
нию, «сладкия сея повести» [21, с. 300].

Батый «яко же  
некий зверь»

«Степенная книга» была гораздо более консерва-  
тивна. И все же (хотя и в единичных случаях) ее соста-  
витель вносил дополнительные детали в описания, ста-  
новившиеся от этого едко карикатурными: Батый «яко  
же некий зверь, вся поядая, останки же ноготыми рас-  
терзая» [22, с. 262]; Темир Аксак в «Степенной книге»  
«внезапу воздрогнувъ и ужасно воскочивъ ... и нелепо  
воскрича страшнымъ гласомъ, трясыйся и стенияше»  
[22, с. 437]. Религиозно-политический нажим «утяже-  
лял» литературную традицию изображения злодеев.

Зверскость Стефана  
и его войска

Элементы образности еще сильнее «утяжелились» в  
«Повести о прихождении Стефана Батория на град  
Псков» [23]. «Зверскость» Стефана и его войска автор  
обозначил не только густыми сочетаниями обычных  
символов (голодный зверь, аспид, змий, жало, яд, волки  
и пр.), но однажды увлекся цельным развернутым обра-  
зом крылатого огнедышащего змея и дыма: «яко несы-  
тый ад, пропастныя своя челюсти роскидаша и оттоле  
града Пскова поглотити хотяше. Спешнее же и радост-  
нее ко Пскову, яко из великих пещер лютому великому

змию, летяше. Страшилищами же своими, яко искры огненными дым темен, на Псков летяше... И тако все, яко змии на крылех, на Псков град леташе и сего горделивством своим, яко крылами, повалити хотяше; змеиными языки своими вся живущия во граде Пскове, яко жалами, уморити мяшесе» и т.д. [23, с. 424, 426]. Автор повести там, где он писал о Стефане Батории и его войске, создал, в сущности нечто вроде злорадного памфлета. На это указывает, в частности, авторское рассуждение, следующее сразу же за образом змея и черного дыма: «От полуденная страны богохранимого града Пскова дым темен: литовская сила на черность псковския белыя каменные стены предпослался, ея же ни вся литовская земля очертети не может». И далее: «И сий, яко дивий вепрь из пустыни, прииде сам литовский король... Сий же неутолимый лютый зверь несытною своею гладною утробою пришед ... всячески умом розполашесе...» [23, с. 428].

Метаморфозы традиций изображения злодеев

Политические чувства писателей стали приводить к заметным видоизменениям очень стойкой традиции изображения злодеев в литературе. «Зверскость» злодеев с течением времени превратилась в ругательную оценку и требовала предметных дополнений, делавших произведения более или менее своеобразными, каждое в своем роде. Но, отвлекаясь от частных случаев, мы схематически можем выделить у памятников два литературных «семейства»: «семейство» древнее, ведущее свое начало от «Повести временных лет», и «семейство» более позднее, состоящее в основном из воинских повестей, обычно связанных с летописанием.

### 3 – Произведения XVII века

Сравнение врагов со злыми волками, лютыми львами, змеями, аспидами и пр.

В произведениях, рассказывающих о событиях Смутного времени, всюду расцвела эмоциональная традиция сравнивать врагов со злыми волками, лютыми львами, змиями, аспидами, скорпионами и пр. Но, естественно, появились и многочисленные новации.

Начнем с рассмотрения «*Новой повести о преславном Российском царстве*» [24]. В авторские проклятия злодеям проникла некая хозяйственная тема. Наряду с упоминанием экзотических животных автор повести стал ориентироваться и на животных бытовых, домашних. Так, злодей был сравнен с жеребцом: наш «аки прехрабрый воин лютаго, и свирепаго, и неукротимаго жребца, ревуцаго на мску, браздами челюсти его удерживаетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подасть» [24, с. 34]. Злодеи неоднократно напоминали автору повести

Злодеи в качестве сорняков и вредоносных корней

лающих псов: «начать, аки безумный песъ, на аерь зря лаяти... яко песъ, лаяль и браниль» [24, с. 42]; предать врагам, «аки псомъ на снадение» [24, с. 40].

Дело в том, что, изображая врагов-захватчиков, автор исходил из неотчетливого представления то ли о неухоженной усадьбе, то ли о запущенном хозяйственном дворе. Поэтому злодеев он сравнивал с сорняками и вредоносными корнями: «чтобы от того гнилаго, и нетвердаго, горкаго, и криваго коренни древа ... отвратити ... и злое бы корение и зелие ис того места вонъ вывести (понеже много того корения злаго и зелия лютаго на томъ месте вкоренилось)» [24, с. 28]; «чего ... злому корению и зелию даете в землю вкореняться и паки, аки злому горкому педыню, распложатися?» [24, с. 48]; «сами в свою землю и веру злое семя вкореняемъ» [24, с. 50].

Враги – злодеи разоряющие Российского государство

Особенно ясно бытовые ассоциации автора проявились в сценках поведения врагов-хитрых злодеев. Это: развернутое сравнение врага с корыстным женихом («не по своему достоянию ... хоцетъ пояти за ся невесту красну, и благородну, богату же, и славному, и всячески изрядну. И нехотения ради невестина и ея сродниковъ ... не можаше ю вскоре взяти» и пр.) [24, с. 30]; сравнение с бесчестными покупателями-насильниками («купльствуютъ не по цене, отнимають силно, и паки не ценою ценять и серебро платят, но с мечемъ над главою стоять») [24, с. 48]; сравнение с раболепными нищими перед богачом («смотрят из рукъ и ис скверныхъ усть его, что имъ дастъ и укажетъ, яко нищии у богатаго проклятаго») [24, с. 46]; сравнение с буйным скандалистом (на свою жертву «нелепыми славами, аки сущий буй, камениемъ на лице ... метати, и ... безчестити, и до рождшия его неискуснымъ и болезненным словомъ доходити ... шумень былъ и без памяти говорил») [24, с. 42].

Изображение врагов-злодеев разворачивалось у автора повести как бы на фоне неладной городской жизни. Разграбление царской казны и разорение Российского государства интервентами и предателями, о чем с отчаянием писал автор повести, по-видимому, подтолкнуло его к «хозяйственной» изобразительности.

Традиции изображения угнетаемых

Возможно также, что на автора повести подействовала и давняя традиция изображения угнетаемых или гонимых народов или персонажей, в соответствии с которой авторы использовали хозяйственно-бытовые детали для подчеркивания возмутительности ситуаций. Вспомним о «Повести временных лет» (обры – мучители дулебских женщин), о «Житии Авраамия Смоленскаго» (попы – преследователи Авраамия), о «Житии

Евфросина Псковского» (попы – хулители Евфросина). Впрочем, существование этой традиции нам еще предстоит подтвердить.

Политическое давление на изображение в последующих повестях и сказаниях

Само же разнообразие хозяйственно-бытовых сопоставлений в «Новой повести» объясняется действительно совсем новым явлением – зашифрованностью сравнений из политических соображений: осторожный автор повести никого из главных персонажей не назвал по имени, хотя его намеки были более чем прозрачными. Политическое давление на изобразительность стало распространенной традицией, хотя и относительно недавней.

Что касается изображения злодеев, «Новая повесть» продолжила новации уже не в одной, а, по крайней мере, в двух (притом очень разных) политизированных традициях: бытовой и «шифровальной».

Образы природы применяемые к злодеям

В последующих произведениях о Смуте среди привычных сопоставлений злодеев с привычными же зверями начали накапливаться мотивы, относящиеся к реальной природе. Пожалуй, первые элементы этого появились в «Сказании» Авраамия Палицына [25], вообще-то очень скупом в употреблении сравнений, но все-таки: «яко лютыя лвы *ис пещер и из дубрав*»; «ползающе, аки змия, по земли *молком*»; «лукави суще, яко *лисица*» [25, с. 212, 248, 268].

Новые образы велеречивого Ивана Тимофеева

Особенно много сопоставлений из мира реальной природы, примененных к злодеям, скопил в своем «*Временнике*» велеречивый Иван Тимофеев [26]. Прежде всего, он снабдил более или менее реалистичными дополнениями традиционно упоминаемых животных. Так, змий получил хвост и зубы: злодей «яко змий, держася, обвив хоботом своим»; «окруживше объятием, яко велий змий хоботом»; «враждебно, яко змиеве, своими зубами держащих» [26, с. 79, 141, 119]. Змеи стали шипеть: «яко змиев, гнездящихся и сипящих» [26, с. 165]. Аспиды стали показывать пасть: «поглощения гортани зубов оного аспида» [26, с. 80]; «зиянием горла он си един, яко аспида, устраши» [26, с. 131].

Звери «яко в берлозе лестнее крыяся»

Просто звери тоже стали показывать себя: «яко в берлозе дивия некако, лестне крыяся» [26, с. 53]; «яко же зверь некий, обратився навспячь, зубы своими угрызну» [26, с. 73]. Вепрь стал вести себя мирно, но хищно: «яко вепрь, тайно нощию от луга пришед ... кости ми оглада» [26, с. 78]. Псы, олицетворяющие злодеев, тоже стали у автора конкретнее: «яко в просту храмину ... пес со всесквернавою сукою ... вскочи» [26, с. 88]; «уже от сухих костей, подобно псу, тех сосет мозги» [26, с. 78–79]; «егда по случаю некако пес восхитит негде ...

снесь ... бежит в место тайно тоя снести. Прочии же пси, таковое узревше восхищенное, у единого отъемлют и наслажаются вси купно ... пожидают же растерзательно и небрежно, обаче и растрашают много, прерывающе ... обидимым изгрызатися» [26, с. 89], – целая картинка, наблюденная автором в жизни города или села.

«Яко козел, ногама збод и ... долу сверг»

Появились во «Временнике» и менее традиционные существа, символизирующие злодеев, например, козлы: «яко козел, ногама збод и ... долу сверг» [26, с. 46]; «яко дивий козел, овна рогами збод» [26, с. 72].

Наконец, памятливым наблюдателем природы Иван Тимофеев охотно сравнивал злодеев с неприятными и опасными явлениями, – с нечистотами, тучами, ночной тьмой, пожаром и дымом: «яко многомутныя нечистоты воды от скверных мест ... собранием истекоша» [26, с. 141]; «яко темен облак возвлекся от несветимыя тмы» [26, с. 83]; «яко ... мрачен облак тмы исполнися» [26, с. 88]; «яко *нощь* темна видением зряхуся» [26, с. 13]; «яко *главню* некую, искр полну, ветром раздомшую... внесоша ... яко саморазжено углие огнено ... к запалению совнесше ... все огнем запальше, испепелиша» [26, с. 14]; «яко *дым* по воздуху разшедшеся» [26, с. 32]; «яко огню *дымоподобие* некаку ... курящуся» [26, с. 47].

Новая политическая  
шифровальная  
традиция

Отчего так старался Иван Тимофеев? Автор «Временника» в изображении злодеев, возможно, развивал образительно-политический опыт «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков», а зашифровывающую функцию сравнений воспринял из «Новой повести о преславном Российском царстве». Новая остро политическая «шифровальная» традиция все шире влияла на памятники. Это подтверждает и признание самого дьяка Ивана Тимофеева о том, что, боясь преследований польско-литовских интервентов и их пособников, он нарочно писал трудно понимаемым риторическим языком, прятал и перепрятывал свои записи. Сравнения с природными явлениями и добавление реальных деталей из поведения животных тут пришлось как нельзя кстати.

Тенденция  
к воспроизведению  
штампов

Прочие произведения о Смуте не отличались оригинальностью в изображении хищности злодеев, изредка лишь подменяя детали (ср. в «Хронографе 1617 г.»: «аки злый *вранъ*, иже злобою очерненный»; «аки злодыхательная *буря* надымаяся» [27, с. 322, 332]). В общем, произведения о Смуте все-таки относились ко второму «семейству» встревоженных памятников.

Литературный  
шедевр «Повесть  
о Горе-Злосчастии»

В более поздних произведениях XVII в., уже не посвященных событиям Смутного времени, злодеев было немного. В первую очередь надо рассмотреть нео-

бычный литературный шедевр – «Повесть о Горе-Злосчастии» [28].

Своеобразия Гора

У Гора можно отметить четыре своеобразия. Во-первых, Горе, конечно, злодей, но злодей странный. Горе никого не убивает и не мучает. Оно только навязчиво преследует Молодца: «Стои ты, Молодецъ! Меня, Гора, не увидишь никуда» [28, с. XVII]; «не на час я к тебе, Горе-Злосчастие, привязалось» [28, с. XX]; «с тобою пойду подъ руку под правую» [28, с. XXI]. Горе только страшит Молодца смертью: «бывали люди у меня, Гора, и мудрая тебя, и досужае, и я их, Горе, перемудрило... до смерти со мною боролися... не могли у меня, Гора, уехати... они во гробъ вселилися» [28, с. XIII]; «быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от тое жены удавлену, и з злата и сребра бысть убитому»; «хощь до смерти с тобою помучуся... кто в семью к нам примещается, ино тот между нами замучится» [28, с. XX]; «умереть будетъ напрасною смертию», «чтобы Молодца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» [28, с. XXII]. Горе у автора повести предстало в каком-то смягченном виде: его не уничтожают и не прогоняют, оно есть – и приходится его терпеть.

Погруженность Гора во множество проблем

Вторая черта Гора – его погруженность в быт. Горе преследует Молодца, так сказать, охотничьими и хозяйственными способами: в просторном поле «злое Горе ... на чистомъ поле Молодца встретило, учало над Молодцемъ грать, что злая ворона над соколомъ... Горе за ним белымъ кречетомъ... Горе за нимъ з борзыми вежлцы... Горе пришло с косою вострою... Горе за ним с щастыми неводами» [28, с. XX–XXI].

Прилипчивый и наглый Горе

Третья черта Гора такова: по сравнению с прошлыми изображениями злодеев автор повести представил Горе в приземленно-бытовом виде, но не зверском или скотском. Горе, скорее, напоминает прилипчивого и наглого алкоголика: «хочу я, Горе, в людех жить, и батогомъ меня не выгонит; а гнездо мое и вотчина во бражниках» [28, с. XIII]; «босо, наго, нетъ на Горе ни ниточки, еще лычкомъ Горе подпоясано, багатырскимъ голосомъ воскликано» [28, с. XVI–XVII].

Горе похоже на пьяниц из другого произведения – из «Службы кабаку»\*, где постоянны и часты упоминания «наготы-босоты» пьяниц, которые «горлы рыкают» и, обретаясь в кабаке, «яко ворона по полатам летает» [29, с. 198, 201, 206].

\* Служба кабаку – сатирическое «богослужение», восхваление пьяниц.



Бытовые мотивы вышли на первый план при изображении Горе-Злосчастия, полностью вытеснив влияние политики, потому что Горе – «свой», российский персонаж, а не иностранный злодей, как это было в литературе ранее. Можно предположить, что «природо-хозяйственное» изображение российских пособников внешних врагов в какой-то мере помогло переходу к изображению злодея внутрироссийского, бытового.

Горе подобно  
оборотню  
прикидывается то  
одним, то другим...

Четвертая черта: Горе более зловеще, чем просто опустившийся пьяница или «лихой человек», который «в тотъ час у быстри реки скоча ... из-за камени» [28, с. XVI]. У Горе нет лица, и «серо Горе горинское» [28, с. XIII]. Оно, как оборотень, только прикидывается перед Молодцем то человеком «голеньким»; то божественным вестником архангелом Гавриилом; то, подобно «людям добрым», якобы благим наставником; то охотником; то рыболовом; то вроде бы превращается в хищную птицу. На беса оно все-таки не похоже, потому что бесы в состоянии наслать на человека болезнь и смерть, а Горе этого сделать не может и не хочет. Кроме того, бесы жестоко шалят в монастырях и монастырских кельях (ср. «Повесть временных лет»), а «Горе у святых воротъ остается, к Молотцу впредь не привяжетца» [28, с. XXII]. Вероятно, автор повести исходил из представления, что Горе – это не бес, а какая-то более слабая, притом бытовая, нечистая сила. Недаром Горе предлагает Молодцу: «покорися мне, Горю *нечистому*» [28, с. XVII], – тут у эпитета «нечистый» двойной смысл, прямой и переносный.

Последствия  
преодоления Смуты

В общем, смягченное отношение автора повести к своим персонажам коснулось не только Молодца, но и Горе. В «Повести о Горе-Злосчастии», по-видимому, отразились умиротворенные настроения после преодоления Смуты.

Старообрядцы о  
зверскости злодеев-  
мучителей

Наконец, в последней четверти XVII в. о «зверскости» злодеев-мучителей людей упорно писали старообрядческие деятели, особенно Аввакум. Однако, вопреки нашим ожиданиям, новаций у него было очень немного. Так, Аввакум в своем «Житии» применял к злодеям (к патриарху Никону, никонианам, властям и «начальникам») в основном сравнения старой традиции, – с дикими зверями, волками, адовыми псами; а также сравнения относительно более поздней традиции, – например, с лукавыми лисами. Это были обличения в «высоком» стиле. Реже Аввакум обращался к сравнениям из области быта и реальной природы: «власти, яко козлы, пырскать стали на меня» [30, с. 379]; «оборвали, что собаки» [30, с. 380]; «что волъчонки, вскоча, завыли» [30, с.

Живописания  
мучителя,  
пребывающего в  
кручине

384]. Это были презрительные обличения, так сказать, в «низком» стиле.

Но есть в «Житии» Аввакума удивительное описание злодея, – жестокого воеводы Пашкова, когда из неудачного похода, еле спасшись, вернулся его раненный сын, за которого воевода очень беспокоился: «Он же Пашковъ, оставя застенокъ, к сыну своему пришел, *яко пьяной, с кручины*»; тут же присутствовал Аввакум, которого Пашков собирался пытать в застенке: «Пашковъ же, возведъ очи свои на меня, – слово в слово, *что медведь моръской белой*, – жива бы меня проглотилъ, да Господь не выдастъ! – вздохня, говоритъ... Десеть летъ онъ меня мучилъ, или я ево – не знаю, Богъ розберетъ в день века» [30, с. 372].

В приведенных сравнениях отразилось и представление Аввакума о внешнем виде Пашкова (грузный, седой); и сочувствие своему мучителю, пребывающему в «кручине» (это подметил Д. С. Лихачев); и ощущение сдерживаемой «зверскости» врага. Множественность смыслов сценки свидетельствует, что Аввакум создал художественный образ, выразив свое живое впечатление от события и тем самым введя принципиально важную, многообещающую новацию в традицию изображения злодеев.

Более ничего особо выдающегося в прочих произведениях XVII в., кажется, не встречается.

Третье, уже художественное «семейство» памятников еще только начало формироваться.

Мотив «зверскости»  
злодеев один из  
стержневых в  
древнерусской  
литературе

Обозревая (конечно, неполно) историю мотива «зверскости» злодеев в древнерусской литературе за 700 лет, мы сталкиваемся с непривычным для нас явлением: бурного развития этого косного многовекового литературного мотива, в сущности, не происходило; он, как правило, допускал лишь эпизодические дополнения по самым разнообразным поводам, преимущественно политическим или бытовым. Деление памятников на три «семейства» условно.

Мотив «зверскости» злодеев – один из стержней, скреплявших в единое целое древнерусскую литературу и одновременно индикатор ее художественности.

---

1. Повесть временных лет / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский // ПСРЛ\*: – Т.1. – М., 1997. – столбцы 1–732.

---

\* ПСРЛ – полн. собр. русских летописей.

2. Слово о Законе и Благодати / Текст памятника подгот. Т. А. Сумникова // Идейно-философское наследие Илариона Киевского: В 2-х ч. – Ч. 1 – М., 1986. – С. 13–41.
3. *Шахматов А. А.* «Повесть временных лет» и ее Источники // ТОДРЛ: –Т. 4. – М.; Л., 1940. – С.11–150.
4. *Истомин В.М.* Амартола в древнем славяно-русском переводе. – Т. 1: Текст. – Пг., 1920. – С. 1–515.
5. *Тихонов Н.С.* Памятники отреченной\*\* русской литературы. – Т. 2. – М., 1863. – С.1–615.
6. Мучение Еразма // Успенский сборник XII – XIII вв. / Изд подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпов. – М., 1971. – С. 212–219.
7. «Повесть о святом Авраамии» Ефрема // Успенский сборник XII–XIII вв. / Изд. подгот. О.А. Князевская, В.Г. Демьянов, М.В. Ляпов. – М., 1971. – С. 474–490.
8. Житие Феодосия Печерского // Успенский сборник XII–XIII вв <...> – М., 1971. – С. 71–135.
9. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора // *Абрамович Д.И.* Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. – Пг., 1916. – С. 1–26.
10. *Демин А.С.* Поэтика древнерусской литературы: (XI–XIII вв.). – М., 2009. – С. 1–402.
11. «Поучение» Владимира Мономаха // ПСРЛ.: Т. 1. – М., 1997. – Столбцы 240–286.
12. «Владими́ро-Суздальская летопись» // ПСРЛ.: –Т. 1. – М., 1997. – Столбцы 289–487.
13. «Житие Авраамия Смоленского» / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. // ПЛДР: XIII век – М., 1981. – С. 66–105.
14. «Житие Евфросина Псковского» Василия / Изд. подгот. Н. Костомаров // ПСРЛ. – СПб., 1862. – Вып. 4. – С. 67–118.
15. Пространная летописная повесть о Куликовской битве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев // Сказания и повести о Куликовской битве – Л., 1982. – С. 16–24.
16. «Повесть о разорении Рязани Батыем» / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев // ПЛДР: XIII век. – М., 1981. – С. 184–199.
17. Сказание о Мамаевом побоище / Текст памятника подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев // Ска-

---

\* *Отреченная русская литература* – это опокрифы не признанные русской церковью.

зания и повести о Куликовской битве. – Л., 1982. – С. 25–48.

18. Повесть о Темир Аксаке / Текст памятника подгот. В. В. Колесов цитируется по изданию // ПЛДР: XIV – середина XV века. – М., 1981. – С. 132–189.

19. Московская «Повесть о походе Ивана III на Новгород» по Бальзерову списку // ПСРЛ. – СПб., 1853. – Т. 6. – С. 191–194.

20. Повесть о Тимофее Владимирском / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова // ПЛДР: конец XV – первая половина XVI века. – М., 1984. – С. 58–67.

21. Казанская история / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. – М., 1985.

22. Степенная книга / Текст памятника подгот. П. Г. Васенко // ПСРЛ. – СПб., 1908. – С. 300–568.

23. Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков / Текст памятника подгот. В. И. Охотникова // ПЛДР : Вторая половина XVI века – М., 1986. – С. 400–477.

24. Новая повесть о преславном Российском царстве / Текст памятника подгот. Н. Ф. Дробленкова. – М., 1987. – С. 24–57.

25. «Сказание» Авраамия Палицына / Текст памятника подгот. Е. И. Ванеева. – М., 1987. – С. 162–281.

26. «Временник» Ивана Тимофеева / Текст памятника подгот. О. А. Державина // Временник Ивана Тимофеева. – М., 1951. – С. 1–512.

27. Хронограф 1617 г. / Текст памятника подгот. О. В. Творогов // ПЛДР: Конец XVI – начало XVII веков. – М., 1987. – С. 318–357.

28. Повесть о Горе-Злочастии // Цитируется по фототипическому воспроизведению рукописи в издании: *Симони П. К.* Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи XVIII-го века. – СПб., 1907. – С. 1–22.

29. Служба кабаку / Текст памятника подгот. Н. В. Поньрко. – М., 1989. – С. 196–210.

30. «Житие» протопопа Аввакума / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова // ПЛДР: XVII век. – Кн. 2. – М., 1989. – С. 351–397.

